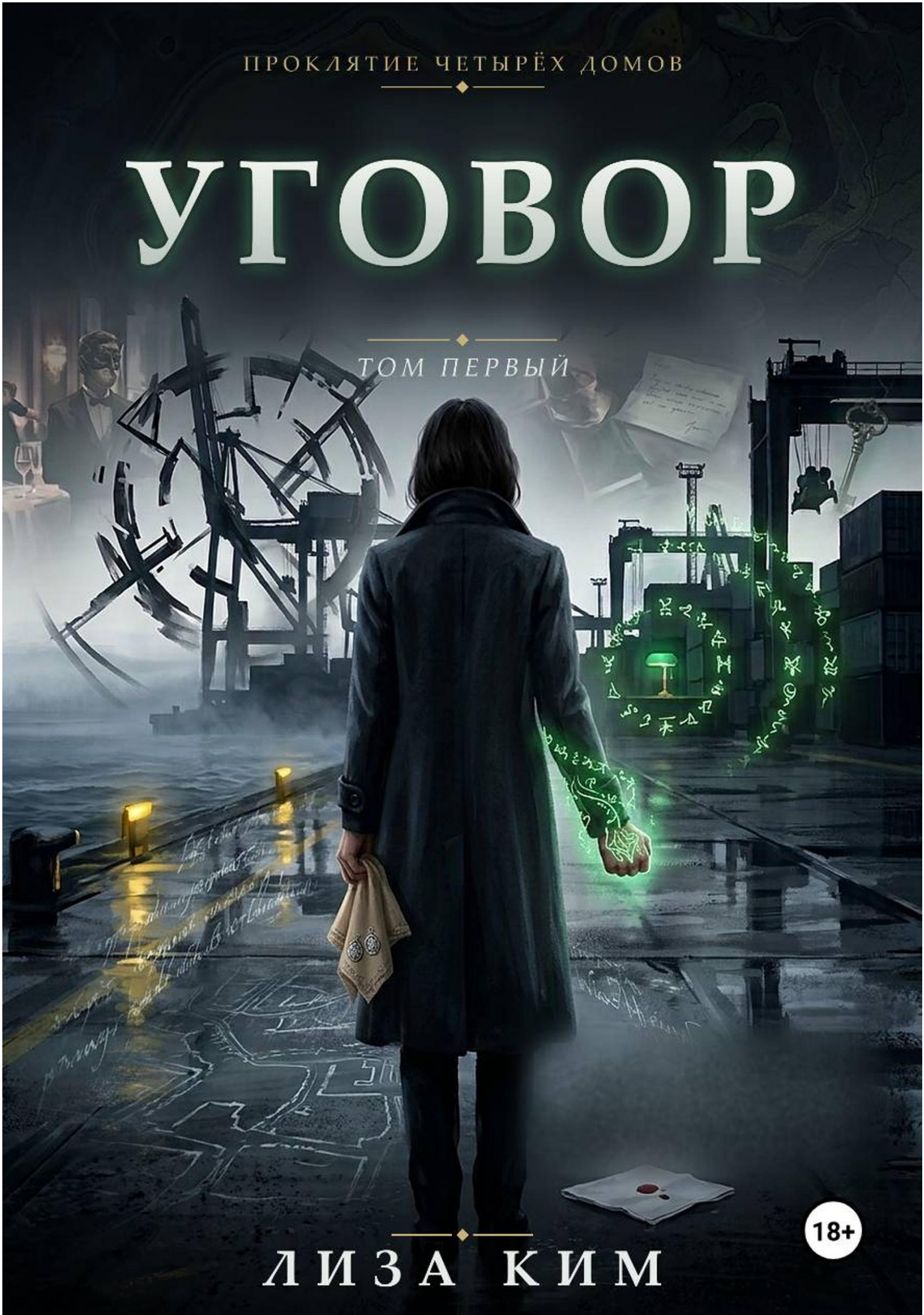
ПРОКЛЯТИЕ ЧЕТЫРЁХ ДОМОВ

УГОВОР

ТОМ ПЕРВЫЙ



18+

ЛИЗА КИМ

Лиза Ким

Уговор. Проклятие четырёх домов. Книга 1

«Автор»
2026

Ким Л.

Уговор. Проклятие четырёх домов. Книга 1 / Л. Ким — «Автор», 2026

Дом нельзя ни взять, ни разрушить. Но у этого есть цена, и платит её тот, кого ты любишь.Мэйв Тирнан двадцать шесть, и бостонский порт давно держится на её подписи. Теперь отец, Фергус Тирнан, при свидетелях называет её наследницей дома — и в тот же день открывает ей, на чём этот дом стоит. Дом Тирнан хранит Уговор: пока у него есть носитель, его нельзя ни захватить, ни уничтожить. Но Уговор питается кровью ближайших родных, и нынешний залог — брат Мэйв, Деклан. Принять власть значит подписать ему приговор. Отказаться значит отдать дом тем, кто только и ждёт промаха. Выход один: найти Инес Арриага — единственную, кому удалось вырваться из залога в ночь, когда двадцать лет назад сгорел её дом. До собрания четырёх домов — меньше трёх недель. А в стенах особняка снова шумит вода.

© Ким Л., 2026
© Автор, 2026

Лиза Ким
Уговор. Проклятие четырёх домов. Книга 1

ЛИЗА КИМ

УГОВОР
◆
Том первый

Цикл «Проклятие четырёх домов»
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Пятница

Пролог. Двадцать лет назад

Под лестницей пахнет апельсинами и мастикой для пола, и это лучшее место на свете.

Мне шесть лет, и оно моё: между шкафом и ступеньками есть щель, в которую я пролезаю, а мама нет, и папа тем более нет, потому что папа не пролезает никуда. Тиасу восемь, и он пролезает, только если ляжет на бок и не будет дышать животом. Он каждый раз ложится и не дышит, хотя ему тесно: иначе мне неинтересно играть.

— Твоя очередь, — говорит он.

У нас игра: надо назвать вещь, которая точно есть в доме, а другой её не видел, и если он скажет «не видел» — очко тебе, а если скажет «видел» и расскажет какая — очко ему. Врать нельзя. За враньё три щелбана, и Тиас бьёт по-настоящему, он меня совсем не жалеет, он только честно предупреждает заранее.

— Зелёная коробка с замочком, — говорю я. — Где пианино, на верхней полке.

— Видел, — говорит Тиас сразу, не думая.

— Не видел! — Я зажмуриваюсь, чтобы вышло убедительнее.

— Видел. — Он говорит лениво, даже зевает. — Она серая, а зелёной кажется от наших ламп. И замочка нет, там защёлка. И внутри ноты.

— Откуда ты знаешь, что внутри?!

— Открывал.

— Так нечестно! — Я бью его кулаком в плечо, а он только смеётся.

— Так очко, — говорит Тиас и улыбается в темноте.

У него между передними зубами щель, и он умеет туда плеваться водой, тонко и далеко, через весь двор, а у меня зубы ровные и так не получится никогда, сколько ни тренируйся, и это самая большая несправедливость, которая со мной случалась.

Мы играем уже шестой раз подряд, и я выигрываю пять.

Я знаю, что он поддаётся. Я видела, как он прикусил губу, когда сказал «не видел» про мамино зеркало с ангелочками, — он его видел, он вообще всё в этом доме видел, он тут живёт. Я ему не говорю, что знаю, потому что если сказать, он перестанет, и тогда придётся выигрывать по-настоящему, а по-настоящему у меня пока не выходит.

В конце коридора, в комнате с пианино, на диване лежит Инес.

Ей столько же, сколько мне, и с ней нельзя играть — мне это говорили раз сто, и я не спорю, но всё равно при каждом приезде хожу на неё смотреть. Она лежит в носках поверх покрывала и смотрит вверх, и она такого цвета, какого люди не бывают: немножко прозрачная, как молоко, в которое долили воды. На сгибе локтя у неё пластырь. Пластырь есть всегда, каждый раз в новом месте, и один раз я спросила про это у мамы, и мама так сжала мне руку, что потом полдня был след от колечка.

Рядом с диваном стоит ведёрко со льдом, а в ведёрке — ничего, просто лёд, и он давно растаял наполовину. Никто его не уносит. Он стоит там каждый раз.

— Она спит? — спрашиваю я шёпотом.

— Не спит. Просто лежит. — Он отвечает, не глядя на меня, и ковыряет ногтем доску.

— Почему? — Выходит шёпотом, хотя нас всё равно никто не слышит.

— Устала. — Слишком быстро, и он тут же отворачивается.

— От чего?

Тиас молчит так долго, что я успеваю посчитать до двенадцати.

— Твоя очередь, — говорит он.

А потом в гостиной перестают смеяться.

Я слышу это сразу, хотя я маленькая и мне такое слышать не положено: только что были смех, и тарелки, и мамин голос поверх всех остальных, — и вот нету, как будто кто-то повернул ручку и выключил. Потом по полу проезжает стул.

У меня под пупком делается холодное место, и оно растёт.

— Сиди, — шепчет Тиас и хватает меня за подол.

Но я не сижу: я выдёргиваю платье, вылезаю из щели и иду по коридору, держась рукой за стенку, потому что со стенкой правильнее, а Тиас ползёт сзади и шипит на меня, и я не оборачиваюсь.

Дверь в гостиную закрыта не до конца.

Мне видно мало — угол стола, скатерть с вишенками, чьи-то спины в пиджаках, — и ещё мне видно папу, потому что папа стоит, а все сидят, и он всегда самый большой, где бы ни находился. Перед ним на скатерти лежит белая салфетка, и он её гладит ладонью, разглаживает, и ещё, и ещё раз, и я почему-то смотрю только на эту руку и на эту салфетку и больше никуда смотреть не могу.

— Аурелио, — говорит папа. — При всех. Сейчас.

Дядю Аурелио мне не видно, но я слышу, как он отвечает: «Фергус, послушай меня одну минуту», — и голос у него такой, какой бывает из-под воды в ванной, когда ныряешь с головой, а наверху кто-то разговаривает.

— Одну минуту, — говорит папа. — Потом.

Что-то звякает о тарелку, а потом раздаётся короткий тихий звук, такой, с каким мама режет курицу.

И по белой салфетке идёт красное.

Оно идёт быстро, от середины к краям, как сок по бумажному полотенцу. Кто-то говорит слово не по-нашему. Кто-то отодвигается от стола на шаг, и ещё кто-то.

И все в комнате перестают на неё смотреть. Все вместе, в одну секунду. Никто её не трогает, никто не несёт полотенце, и она так и лежит посреди стола, и красного на ней делается всё больше.

Мне видно папино лицо.

Такого лица у него не бывает. Ни когда он сердится, ни когда устал, ни когда мы с Декланом разбили стекло в оранжерее. Я смотрю и смотрю и никак не могу понять, на что это похоже.

В прихожей идут часы. Раньше их было не слышно.

Он поднимает глаза и видит меня в щели.

Меня хватают за руку.

Это Деклан — ему девять, он весь вечер играл наверху и не должен знать, где я, но он всегда знает, где я. Он держит моё запястье так, что немеют пальцы, и тащит обратно по коридору, и я открываю рот, а он говорит: «Не сейчас». Он со мной никогда так не разговаривал. Я закрываю рот.

Мы проходим мимо комнаты с пианино. Дверь открыта, на диване пусто, покрывало даже не смято. В ведёрке у дивана одна вода.

Нас выводят в машину, и мама выходит следом, на ходу снимая пальто, и в машине накидывает его на меня, хотя мне не холодно: мне жарко, у меня горят щёки и уши.

Из машины видно дом.

Он стоит, как всегда стоял: большой, жёлтый от фонарей, с оградой, и у крыльца два кипариса, похожие на восклицательные знаки. На втором этаже горит окно.

В окне стоит Тиас.

Он смотрит на нашу машину. Я машу ему.

Он машет в ответ.

Машина не едет. Мы стоим в конце дорожки так долго, что я засыпаю щекой в пальто, и просыпаюсь, и снова засыпаю, и во второй раз просыпаюсь оттого, что в заднем стекле оранжево.

Я сажусь.

Деклан рядом смотрит прямо перед собой и ко мне не поворачивается; я трогаю его за рукав, он не поворачивается. Огонь идёт из окон второго этажа, не из того окна, из соседних. Там очень много людей, и никто не кричит.

Ни звука, ни звона вилки о тарелку. Я так вслушиваюсь, что в ушах начинает звенеть, и этот звон — единственное, что я слышу.

Пахнет не дымом. Пахнет горячим железом.

Папа выходит из машины и идёт к дому.

Он идёт небыстро. Он поднимается на крыльцо между двумя кипарисами. Один кипарис горит снизу. Папа заходит внутрь.

Я считаю.

Я совсем недавно научилась считать до ста и теперь считаю всё подряд — ступеньки, фонари, сколько дней осталось до пятницы, — и сейчас я тоже считаю, сначала вслух, а потом, когда мама говорит «Мэйв», шёпотом.

Восемьдесят шесть.

Папа выходит.

Один.

Он спускается с крыльца, отряхивает рукав — два раза, тем же самым движением, каким разглаживал салфетку, — и идёт к машине. Я смотрю на окно на втором этаже, а в окне уже никого нет. Папа садится вперёд, хлопает дверью и говорит водителю:

— Домой.

И мама, не поворачивая головы, говорит:

— Там дети, Фергус.

А папа отвечает:

— Я знаю.

Октябрь

За сорок минут Дэнни Шеридан ни разу не обращается ко мне напрямую.

Он говорит обо мне, он говорит в мою сторону, он даже один раз называет меня по имени — «Мэйв, ты пойми», — но смотрит при этом поверх моего плеча, на Тома Берка, который стоит у двери и за всё время не произнёс ни слова.

Офис у него надстроен прямо над холодильным цехом, и холод идёт снизу, сквозь бетон и дешёвый ковролин, сквозь тонкую подмётку туфель, которые я надела сегодня специально: на каблуках я с Дэнни одного роста, и мне было интересно, изменит ли это хоть что-нибудь.

Не изменило.

Здесь пахнет мокрым картоном и той сладковатой сыростью, которая заводится там, где двадцать лет подряд что-то замораживают и размораживают. На оцинкованных коробах под потолком стоят капли. Внизу, за стеной, гудят компрессоры — низко, с перебоями, и от них подрагивает стакан на столе.

— Том, ты передай Фергусу, — говорит он, — передай, что мы не отказываемся. Никто не отказывается. Мы говорим: условия были другие. Девяносто восьмой год, другой порт, другие люди. Фергус поймёт.

На столе стоят три картонных стакана с кофе, и к своему я не притрагиваюсь, потому что знаю, какие у меня сейчас руки.

— Фергус поймёт, — повторяет он и наконец смотрит на меня — быстро, как смотрят на свободный стул, проверяя, не занят ли. — Без обид.

— Обид нет.

И я замолкаю.

Я молчу девять секунд. Считаю их, чтобы занять голову хоть чем-нибудь, кроме рук.

Дэнни открывает рот, чтобы добавить что-то ещё про девяносто восьмой год, и не добавляет, и один из его людей переступает с ноги на ногу, и внизу гудят и смолкают компрессоры.

— В декабре у вас продление лицензии, — говорю я.

— Чего?

— Хранение замороженной продукции, третья категория, продление в декабре. — Я говорю без нажима, как про погоду. — Документы вы подали в августе, потому что в прошлый раз их мариновали четыре месяца. В этот раз тоже будут мариновать, потому что у вас не приведён в порядок резервный контур охлаждения в третьем ангаре, а привести его в порядок — это восемьсот тысяч и шесть недель простоя в сезон.

Дэнни молчит.

— Инспектора зовут Рэймонд Доул. Он придёт в первых числах. У него в марте умерла мать, и с тех пор он стал очень обстоятельным человеком.

— Мэйв...

— Я могу помочь.

Вот теперь он смотрит.

По-настоящему, прямо, и в глазах у него делается то самое выражение, которое я за два года видела раз двадцать и которое всегда означает одно и то же: человек в срочном порядке пересчитывает, с кем он, оказывается, разговаривал всё это время.

— Это тебе отец сказал? — Он облизывает нижнюю губу.

— Нет.

— А кто? — Ладонь на столе медленно сжимается и сдвигает картонный стакан на сантиметр.

— Дэнни. — Я чуть наклоняю голову. — Вы два года переписываетесь с моим отцом. Каждое письмо, каждая цифра, каждое «с уважением». Как вы думаете, кто их пишет?

В офисе становится слышно холодильники.

— Условия были другие, вы правы. Сначала было четыре процента. Потом у вас сгорел ангар, и мой отец снизил их до двух с половиной, хотя не обязан был. Мне тогда было лет десять. Мать до сих пор пересказывает, как называла его за это идиотом.

— Мэйв...

— Три месяца неплатежей. — Я кладу ладони на стол, одну поверх другой, потому что так они не дрожат. — Я не прошу процентов и не прошу извинений. Я прошу то, что должны, в понедельник до полудня, и дальше работаем как работали, и в декабре к вам приходит Доул и подписывает всё за полчаса.

Дэнни смотрит на Берка.

Это рефлекс, и он сам это понимает — по лицу видно, — но посмотреть успевает.

— А Фергус знает, что ты здесь? — спрашивает он.

И я медлю.

Полсекунды, не больше. Но в этой комнате полсекунды — это много, и он их получает, и мы оба это видим.

— В понедельник до полудня, — говорю я.

— А если не выйдет?

— Тогда выйдет во вторник. Но не у вас.

Я встаю, и все встают.

У двери он протягивает руку Берку, ловит себя на этом посреди движения, замирает на полсекунды и перекладывает ладонь в мою сторону.

Я пожимаю. У него ладонь ледяная от этого цеха, и моя наверняка тоже.

◆ ◆ ◆

В машине я не могу расстегнуть пуговицу на манжете.

Пальцы не мои. Я смотрю на них со стороны — как они возятся, цепляются, соскальзывают, — и ничего не выходит, и я дёргаю, и нитка лопается, и пуговица укатывается куда-то под сиденье.

Берк сидит рядом и смотрит в окно.

Ему семьдесят четыре, он служит моей семье дольше, чем я живу на свете, и у него большие сухие руки, в которых он вечно что-нибудь вертит — ключи, зажигалку, запонку.

Мы проезжаем мост. Справа встаёт порт — краны, контейнеры, вода цвета мокрого асфальта, — и небо над ним такое белое, будто его вчера покрасили, а высохнуть оно ещё не успело. Октябрь в этом году сухой и злой, с ветром, который тащит по воде рыжую пыль с рудного терминала.

— Хорошо отработали, — говорит Берк, не поворачивая головы. Это почти похвала. Я пережидаю, пока она дойдёт, и тут же злюсь на себя за то, что жду.

— Он смотрел на вас. — Вопросительного знака я не ставлю.

— Знаю. — Он вертит в пальцах запонку и не поднимает глаз.

— Все сорок минут. — На «сорок» у меня сводит горло, и я принимаюсь искать в сумке платок, которого там давно нет.

— Да.

Односложными он отвечает только тогда, когда не хочет отвечать вовсе, и я поворачиваюсь к нему всем корпусом.

— И что мне с этим делать, Том? С тем, что они говорят мимо меня.

Берк смотрит в окно так, будто там есть на что смотреть, и мы успеваем проехать два съезда.

— Ничего. Будут говорить мимо, пока не привыкнут, а привыкают лет десять. Деклану хватило бы четырёх месяцев — просто потому, что он сын. Я не знаю, как сказать это так, чтобы было и правдой, и утешением. Не складывается.

— Зато вы не врёте.

— Это всё, чем я располагаю. — Он снова отворачивается к окну. — Фергус спросит, как прошло. Пусть лучше расскажу я: если расскажете вы, он услышит, что дочь оправдывается, а если я — он услышит отчёт.

Я опускаю стекло на два пальца, и приходит холодный воздух, с солью и соляркой.

— Том. Попросите остановиться.

Машина встаёт у сетчатого забора, за которым штабелями лежат поддоны. Я сижу, положив руки на колени ладонями вверх, смотрю на них и жду, когда перестанет трястись челюсть.

Это занимает минуты три. Берк за это время не произносит ни слова и ни разу на меня не смотрит — сорок лет при нашей семье научили его, куда смотреть не надо.

— Поехали, — говорю я.

◆ ◆ ◆

Дом стоит в Бруклайне, за двумя рядами старых клёнов, и в октябре клёны засыпают подъездную дорожку так, что садовник приезжает дважды в неделю и всё равно не успевает.

Ему сто сорок лет, и он никогда не бывает тёплым целиком. Батареи шпарят, камины вычищены и не топятся с той осени, и всё равно в нижнем коридоре, там, где кухня переходит в старую часть дома, пахнет холодным камнем и золой. Этот запах не вывести ничем: мать два года возила сюда людей, которые брали деньги и разводили руками.

Я слышу брата ещё с крыльца: на кухне что-то с грохотом опускается на плиту, и голос Деклана произносит очень нехорошее слово — с оттяжкой, с удовольствием, как человек, который весь день ждал подходящего повода.

Я стою в тёмной прихожей и улыбаюсь.

Потому что он громкий. Пока он громкий, всё в порядке.

Захожу. На острове стоят восемь мисок.

— Ничего не говори, — говорит он, не оборачиваясь.

— Я молчу.

— Ты смотришь. Это хуже.

На нём серый кардиган поверх рубашки с длинным рукавом, хотя на кухне жарко от плиты.

Я считаю его рёбра через кардиган.

Я делаю это каждый раз. Я не хочу, я просто делаю: захожу, говорю «привет» — и считаю.

— Что это? — спрашиваю.

— Рагу по-баскски.

Я замираю.

Это слово в нашем доме не произносят. Не запрещают — у нас вообще никогда ничего не запрещают, — просто не произносят, и ты узнаёшь, что нельзя, по тому, как в комнате меняется воздух. Один раз, лет в шестнадцать, я сказала за ужином что-то про Бильбао, куда меня звали одноклассницы, и мать отложила приборы и вышла из столовой, и отец доел молча, и больше разговора про Бильбао не было.

Официальную версию я знаю наизусть, потому что слышала её всего однажды. Дом Арриага был нам почти роднёй: пятницы через раз, общие крестины. Потом отец получил известие, что Аурелио Арриага отказался от своей крови, потребовал доказательств при свидетелях — за тем же столом, за которым мы ели двадцать лет, — и в ту ночь дома Арриага не стало.

Мне было четырнадцать. Кабинет, зелёная лампа. Я спросила, что значит «отказался от своей крови», и отец сказал: «Это значит, что он сделал выбор. Когда-нибудь я тебе объясню какой». Он не объяснил. Я спрашивала ещё дважды, в семнадцать и в двадцать три, и оба раза слышала: не сейчас.

В том же разговоре он назвал имена. Матиас Арриага, восемь лет, тело не найдено.

Тиас — это Матиас.

Я не сказала отцу, что видела его в окне. Не сказала тогда, не сказала потом. Иногда я себя проверяю: может, не видела, может, окно было другое, двадцать лет — большой срок. Проверка всегда кончается одинаково.

Он мне помахал.

— Ты сказал это нарочно, — говорю я.

— Пункт девятнадцать, — соглашается Деклан, не оборачиваясь. — «Перестать делать вид, что некоторых слов нет».

— Деклан.

— Было рагу. — Он тычет ложкой в самую большую миску. — Сейчас это, скорее, предупреждение другим рагу.

— А почему восемь мисок?

— Потому что в рецепте написано «подготовьте ингредиенты заранее», и я, как взрослый самостоятельный человек, подготовил их заранее, а потом выяснилось, что класть их надо в четыре приёма с интервалами, а у меня уже всё лежало.

Я сажусь на табурет и начинаю смеяться.

Смеюсь долго, до слёз, и в какой-то момент приходится упереться лбом в прохладную столешницу, иначе я свалюсь с табурета: весь сегодняшний день выходит из меня через нос.

— Вот, — говорит он довольно. — Ради этого и готовил.

Он ставит передо мной тарелку и садится напротив, и садится в два приёма, с паузой посередине, и делает вид, что просто задумался.

— Как Шериданы?

— Заплатят в понедельник.

— Это результат. Я спросил как.

И я рассказываю.

Я рассказываю ему всё и всегда, каждый вечер четыре года подряд, и сама не заметила, когда это стало главным, что есть у меня в сутках. Про сорок минут, за которые Дэнни ни разу не посмотрел на меня по-настоящему. Про девять секунд. Про лицензию и резервный контур в третьем ангаре. Про то, как он переложил руку.

Деклан слушает, опустив глаза в стол, и два раза переспрашивает.

— Про мать инспектора не надо было, — говорит он.

Я кладу вилку.

— Почему не надо было?

— Потому что это слишком... — он крутит кистью в воздухе, ищет слово и не находит, — слишком. Понимаешь? Лицензия — хорошо. Контур — отлично, он теперь будет ночами думать, откуда ты про контур знаешь. А покойная мать — это уже на публику. Он от тебя выйдет и расскажет жене, какая ты страшная, а должен был выйти и вообще не понять, что с ним было.

Он прав. Он всегда прав.

Я сижу и чувствую, как у меня горят уши: мне двадцать шесть лет, я сегодня сломала взрослого мужика в его собственном офисе, а теперь сижу на табуретке с горящими ушами, потому что брат сказал «не надо было».

— Чёрт.

— Угу.

— Ты прав. — Плечи у меня сами опускаются на пару сантиметров, и я понимаю, что с самого офиса держала спину так, что болят лопатки.

— Я всегда прав, в этом моя трагедия, — говорит он. — У меня очень много времени на подумать.

Он тянется через остров за перечницей, и рукав съезжает.

На внутренней стороне предплечья, ближе к локтю, у него свежий кровоподтёк — тёмный, с желтизной по краю, размером с монету. Там ничего не могло его оставить. Не то место, которым опираются, не то место, которым задевают углы. Сегодня утром его не было: утром Деклан потянулся за кофе, и рукав съезжал точно так же, и я смотрела.

Он ловит мой взгляд и спокойно одёргивает манжету.

— У меня новый пункт, — говорит он.

— Деклан.

— Двадцать девятый.

Он достаёт из кармана кардигана бумажку — сложенную вчетверо, мятую, исписанную с двух сторон и разлохмаченную по сгибам, потому что таскает он её с весны.

— «Научиться кататься на сноуборде».

— Ты ненавидишь снег.

— При чём тут. В список входит не то, чего я хочу, а то, чего не успею, это разные... — он щурится на собственный почерк, — разные эти самые. Множества. Двадцать седьмой у меня «прочитать Пруста», двадцать восьмой — «разочароваться в Прусте».

— Мне не смешно. — Я говорю это в стол и прикусываю щёку изнутри.

— Тебе смешно. — Он ухмыляется, довольный, как человек, который поймал. — Ты просто решила, что нельзя.

— Деклан. — Это должна была быть угроза.

— Мэйви.

Так он называл меня, когда мне было пять и я разбила коленку, и он прекрасно об этом помнит и пользуется этим совершенно без стыда.

— Из всех в этом доме ты одна, с кем я могу про это шутить, — говорит он. — Мама выходит из комнаты. Папа делает вид, что у него звонит телефон. Берк смотрит на меня, как на шкаф, который придётся выносить через окно. Ты одна смеёшься. Не отнимай, у меня и так зал на три человека.

Смех вырывается раньше, чем я успеваю прижать ладонь ко рту.

— Ну вот, — говорит он, глядя на мою ладонь у рта. — Ну вот.

Он идёт к плите, хотя плита выключена и ему туда не надо. Останавливается спиной ко мне, упёршись обеими руками в край столешницы.

Я знаю эту спину, и знаю, что будет дальше, и знаю, что вставать нельзя: один раз я подошла, и он потом двое суток со мной не разговаривал.

Он кашляет в кулак. Достаёт из кармана салфетку, кашляет ещё. Складывает её вчетверо, уголок к уголку, аккуратно, как складывают счёт в ресторане, и убирает обратно в карман.

— Соль передай, — говорит он, не оборачиваясь.

Соль стоит у него под рукой.

— Держи, — говорю я.

И вот тут я скажу то, в чём не признавалась никому и никогда.

Я сижу на табуретке, смотрю брату в спину и думаю: *сколько.*

Не «за что». Не «как помочь». Не «господи, пусть он живёт». Сколько.

Я считаю. Я считаю всё время: его анализы, папины таблетки, недели между клиниками, — и где-то в самой гнилой моей части сидит цифра, и я каждый вечер её уточняю. Потому что я устала, потому что четыре года — это очень долго, и потому что иногда, часа в три ночи, когда никто не видит и я сама стараюсь не видеть, во мне поднимается то, за что меня надо вывести во двор и пристрелить: *хоть бы уже.*

Я давлю это обратно. Каждый раз давлю, быстро, как окурок каблуком.

Но оно ведь было. А раз было — значит, есть. А раз есть — значит, я такой человек.

Он поворачивается.

— Ты чего?

— Ничего. Устала.

Он смотрит на меня очень внимательно: он единственный в этом доме, кто вообще на меня смотрит.

— Ладно. В субботу приезжают Доэрти, отец велел тебе быть. В синем.

— Почему в синем?

— Потому что в чёрном ты похожа на человека, который только что кого-то закопал, а Доэрти впечатлительные.

Он снимает кастрюлю с конфорки и ставит в раковину.

— И ещё, Мэйви. Он не поедет в ноябре.

Я поднимаю голову.

— Поедет.

— Не поедет. Я считал его таблетки.

Зелёная лампа

Отец сидит в кабинете с выключенным верхним светом — только настольная лампа с зелёным абажуром, круг жёлтого на зелёном сукне. Он всегда так сидит. В детстве мне казалось, что это красиво; лет в двадцать я поняла, что он просто не хочет, чтобы видели лицо.

Здесь пахнет старой бумагой и чернилами из тех, которыми больше не пишут, и под этим — табаком, хотя в доме не курят с девяносто девятого года. Запах сидит в книжных корешках и в сукне, и каждый раз, когда я сюда захожу, у меня делается девять лет.

— Садись, — говорит он.

Я сажусь.

Ему шестьдесят один, и он большой человек, он всегда был самым большим в комнате — широкий в кости, с руками, в которых стакан выглядит напёрстком. Полтора года назад он начал худеть. Большие люди худеют не так, как Деклан. Они обваливаются слоями. Костюм на нём теперь сидит, как на спинке стула.

— Берк рассказал. — Он смотрит на лампу.

— Да. — Я стараюсь, чтобы голос был как у человека, который сделал свою работу.

— Понедельник, полдень. — Он произносит это медленно, по слогу.

— Да.

Он берёт со стола очки, подержав, кладёт обратно, не надев.

— Про инспектора зря.

Мне ужасно хочется сказать, что Деклан сказал то же самое двадцать минут назад, только смешнее. Я не говорю.

— Я поняла.

— Ты поняла, но не поняла почему. — Он поворачивает стакан на сукне на четверть оборота. — Не потому, что жестоко; жестоко — это нормально. Потому что такое запоминают. Человека, который тебя обобрал, забывают через год, а человека, который знал про твою мать, не забывают никогда. Ты сегодня сделала Дэнни Шеридана своим личным врагом на тридцать лет, и сделала это за два с половиной процента.

Я молчу.

— Это поправимо, — говорит он. — Все так начинают.

Это самое близкое к похвале, что я слышала от него года за два. Я прекрасно понимаю, как мало он сказал. Спина у меня выпрямляется сама, без разрешения.

— В ноябре сход, — говорю я.

— Знаю.

— Ты поедешь?

Он смотрит на меня поверх лампы, и тень ложится так, что глаз не видно — только брови и переносица.

— Почему ты спрашиваешь? — Он говорит мягко, и это хуже окрика.

— Потому что ты третий раз отменяешь Нью-Йорк. — Я сглатываю, но голос всё равно лезет вверх, и я слышу в нём девчонку. — Потому что в июне ты не поехал на похороны Кэссиди. Потому что Деклан считал твои таблетки.

— Деклану нечем себя занять. — Отец отвечает быстро, слишком быстро, и отводит глаза к лампе.

— Деклану нечем себя занять, — повторяю я, — потому что ты запретил давать ему дела.

Он ставит стакан.

Без стука. У меня немеет под языком, как от железа. Мне двадцать шесть, сегодня я сломала Дэнни Шеридана в его собственном офисе — и сижу, вцепившись в подлокотники, и жду, что скажет отец.

— Иди спать, — говорит отец.

◆ ◆ ◆

Спать я не иду.

В половине первого, поднимаясь к себе, я вижу свет в бельевой — узкую полосу под дверью в конце коридора, там, где стоит гладильная доска и куда, кроме Марии, никто никогда не заходит.

Мать гладит рубашки.

Она стоит над доской в халате, а рядом на стуле лежит стопка — восемь или девять штук, все светлые, все с длинным рукавом. Разглаживает воротник, переворачивает, разглаживает манжету, вешает на плечики. Утюг шипит. Пахнет горячим хлопком, и от этого запаха мне на секунду делается шесть лет и оранжево в заднем стекле.

— Мам.

— Не спится, — говорит она, не поднимая головы.

Я прислоняюсь к косяку.

— Этим занимается Мария.

— Мария гладит в понедельник. — Мать переворачивает рубашку. — А он мёрзнет.

Я смотрю на стопку.

— Он мёрзнет. В августе мёрз. Я купила ему шесть рубашек с длинным рукавом, он сказал, что я сошла с ума, и носит все шесть. — Она ставит утюг на пятку. — Почему ты не спишь?

— К отцу пришёл врач, — говорю я от двери и не вхожу, как в детстве, когда было нельзя.

— Я знаю. — Она не поднимает головы от рубашки.

— Ты не спустилась. — Она говорит это рубашке. Утюг замирает на одном месте на секунду дольше, чем можно замирать на хлопке, и от ткани поднимается тонкая струйка пара.

— Нет.

Утюг щёлкает, остывая, и где-то в стене идёт вода.

— Мам. Что значит «отказаться от своей крови»?

Мать берёт следующую рубашку, встряхивает, расправляет на доске и проводит ладонью по спинке, разглаживая складку, которую утюг взял бы и так.

Этим движением отец разглаживал салфетку.

— Спроси у отца. — Утюг идёт по рукаву чуть быстрее, чем нужно.

— Я спрашивала. Трижды, — говорю я. Выходит просяще, по-собачьи, и я прикусываю губу, но слово уже вылетело, и мать его слышит.

— Значит, ещё не время. — Она произносит это так, что дальше не спросишь.

— Мне двадцать шесть лет. — Выходит по-детски, обиженно: так просят конфету.

— Мне было двадцать четыре, — говорит мать и поднимает утюг, и идёт пар.

Я стою в дверях и пробую тот же приём, что днём в офисе: молчать, пока человек напротив не заговорит сам. С Дэнни хватило девяти секунд.

Но я не умею молчать с матерью.

— Спокойной ночи.

— Мэйв.

Я оборачиваюсь уже из коридора. Она стоит над доской, держа утюг на весу, и впервые за весь разговор смотрит прямо на меня.

— Когда он тебе объяснит, — говорит она, — не соглашайся сразу. Что бы он ни предложил. Пообещай мне.

— Что не соглашусь?

— Что не сразу.

◆ ◆ ◆

В половине второго я спускаюсь вниз за водой — босиком, по той стороне лестницы, где не скрипит. Перила холодные, как ручка морозильной камеры; эту лестницу я считаю с пятнадцати лет, когда возвращалась домой в четвёртом часу.

Девятнадцать ступеней.

В кабинете горит свет.

Дверь притворена неплотно, на ладонь, и полоса жёлтого лежит поперёк тёмного коридора, и оттуда идут два голоса, и второй мне незнаком.

— ...повторить биопсию, — говорит незнакомый. — Я понимаю, как это звучит после июля, но динамика такая, что я обязан исключить то, что мы могли пропустить. Есть протокол в Хьюстоне, туда берут даже таких, как Деклан, и у них в прошлом году...

— Доктор Фоли.

— ...двое вышли в ремиссию. Двое из девяти, но это двое, мистер Тирнан. Я не предлагаю вам надежду, я предлагаю процедуру.

— Доктор Фоли, — говорит отец. — Перестаньте.

Внутри ставят что-то на стол, негромко, стеклом о дерево.

— Простите?

— Перестаньте искать. Там нечего искать.

Я стою в темноте со стаканом в руке. Пол холодный, и от половиц тянет той же золой и камнем, что в нижнем коридоре.

— Мистер Тирнан, при всём уважении, — голос врача делается осторожным, тем специальным голосом, каким говорят с родственниками, — я понимаю, что четыре года обследований истощают кого угодно. Но отказ от диагностического поиска — это не...

— Сколько у него?

Слышно, как в прихожей идут часы.

— Я не люблю такие вопросы. — Слышно, как он сглатывает.

— Я тоже, — говорит отец. — Сколько? — Последнее слово он произносит почти ласково.

— При нынешней динамике — месяцы. Может быть, год. — Врач торопится, слова налезают друг на друга. — Может быть, больше, если мы наконец поймём, что это такое.

Месяцы. Я перехватываю стакан двумя руками, чтобы он не выдал меня стуком, а плечом упираюсь в стену: колени вдруг становятся чужими.

— Больше не будет, — говорит отец без нажима, как сообщают расписание.

— Вы не можете этого знать. — Врач почти срывается на крик и тут же берёт себя в руки; слышно, как он дышит носом.

— Могу.

За дверью кто-то встаёт — тяжело, в два приёма, с упором на подлокотники, — и я узнаю этот звук, потому что слышу его каждое утро последний год.

— Он не умрёт раньше меня, — говорит отец. — Это единственное, что я знаю точно. Можете записать себе в карту.

Доктор Фоли отвечает не сразу.

— Мистер Тирнан, — говорит он мягко, — я тридцать лет работаю с такими семьями, и все отцы говорят мне что-нибудь подобное. Это нормально, и это ничего не меняет. Болезнь не считается с тем, кто из вас сильнее хочет.

— С вашей — не считается, — говорит отец.

— С какой «моей»?

Отец не отвечает.

В стене над моей головой идёт вода — долго, с остановками: открыли, закрыли, открыли. У нас это называется «трубы». Так говорят в этом доме лет сорок, и я перестала это слышать классе в седьмом, а сейчас слышу: оно начинается у самого пола, уходит вверх вдоль косяка

и замолкает где-то на уровне чердака. Я прикладываю ладонь к стене: она сухая и холодная, внутри ничего не бежит, а вода слышна.

На втором этаже никто не открывает кран. Мать гладит. Деклан спит. Трубы в этом крыле сняли в двухтысячном.

Я иду обратно, прижимая стакан к груди, и считаю ступеньки, как в пятнадцать лет.

Двадцать.

Я не пересчитываю. Я дохожу до своей двери, и пока закрываю её, из кабинета доносится голос отца — уже у самого порога, ни к кому, в пустую комнату:

— Он переживёт меня на несколько дней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Уговор

Суббота

Я надеваю синее.

Я стою перед зеркалом в четверть первого, застёгиваю манжету — на этом платье пуговицы целые, — и злюсь на себя за то, что послушалась. Деклан сказал «в синем», и я надела синее, и теперь выгляжу как человек, который пришёл кого-то успокаивать.

Внизу уже звенят приборами. Мария достала то серебро, которое достают четыре раза в год, и оно всё равно рябое: у нас в доме серебро чистят, а оно темнеет обратно за неделю, и мать говорит, что это из-за отопления.

Доэрти приезжают в час.

Их трое: сам Джеррад, его племянник и водитель, которого сажают на кухне. Джерраду под семьдесят, он маленький, аккуратный, с гладко выбритой шеей, и он тридцать лет возит через наш порт то, о чём за столом не говорят. Дом Доэрти — семья второго ряда. Их не боятся и с ними не считаются, и поэтому при них можно сказать то, чего нельзя сказать при Ардженто: Джеррад увезёт это домой, расскажет своим, и к понедельнику будут знать все, а виноватых не будет.

Стол у нас раздвигается на шестнадцать человек, и его никогда не раздвигают, потому что шестнадцать человек в этом доме не садились с девяносто девятого года, когда ещё были живы те, с кем садились, — так что нас семеро, и мы сидим кучкой у одного края, а дальше идёт четыре метра полированного ореха, в котором отражается люстра.

— Мэйв, — говорит Джеррад и целует меня в обе щеки. От него пахнет ментоловыми леденцами и мокрой шерстью. — Господи, какая ты стала.

— Мистер Доэрти.

— Джеррад. Я тебя на руках держал.

Он всех держал на руках. Это его способ начинать разговор, и он работает, потому что это правда.

Деклан спускается последним.

Костюма он не надевал с февраля, и теперь костюм велик ему в плечах, и он это прекрасно знает, и всё равно надел, — а под пиджаком тонкая водолазка с высоким горлом, которой ещё весной в его шкафу не было.

Он садится напротив Джеррада и принимается за работу.

— Мистер Доэрти, вы мне должны двадцать долларов.

Старик замирает с вилкой.

— Чего?

— Девяносто девятый год, задняя комната у Фэллона. Вы поспорили с моим отцом, что перекричите пароходный гудок. Проиграли и сказали, что отдадите, когда я вырасту. Я вырос.

Джеррад Доэрти смотрит на него секунды три.

Потом начинает смеяться — долго, с кашлем, запрокинув голову, — и племянник оглядывается на него испуганно, потому что никогда такого не слышал.

— Господи боже. Там же Томми был. Томми был, да?

— Томми держал ставку.

— Томми держал ставку. — Джеррад вытирает глаза салфеткой. — Двадцать лет я думал, что мне это приснилось.

Дальше он говорит двадцать минут без остановки: про брата, про заднюю комнату у Фэллона, про то, как в восемьдесят шестом разгружали в шторм и потеряли человека за борт, а нашли его утром в двух милях, живого и в чужом пальто.

Деклан слушает и переспрашивает в нужных местах. В одном из них он трогает старика за рукав — на секунду, там, где у Джеррада дрожит подбородок, — и Джеррад кладёт свою ладонь сверху и так и держит до конца истории.

Я сижу в синем, ем баранину и смотрю, как мой брат работает.

Отец молчит почти весь обед.

Он роняет вилку на фарфор — звон, от которого у меня сводит лопатки, — и Мария подаёт другую раньше, чем кто-нибудь успевает отодвинуть стул. Джеррад Доэрти в эту секунду изучает свою тарелку так внимательно, что можно подумать, там что-то написано.

Он и за этим приехал тоже. И это он тоже увезёт домой.

Когда убирают основное, отец кладёт руки на скатерть.

— Джеррад.

Разговор обрывается на середине фразы племянника.

— Я называю наследницей свою дочь, — говорит отец. — Мэйв. Сегодня, при тебе, при твоих людях. Дальше говори с ней.

Джеррад Доэрти не двигается.

Он сидит очень прямо, с салфеткой на коленях, и смотрит на моего отца так, как смотрят на человека, который только что при свидетелях сделал необратимое, и тридцать лет выучки не дают ему ни охнуть, ни переспросить. Потом поворачивает голову — медленно, потому что в его возрасте быстро не поворачивают, — и смотрит на Деклана.

Все за столом смотрят на Деклана.

Вот как это делается. Не бумага, не нотариус, не собрание. Семь человек в комнате, баранина, рябое серебро — и мужчина, который девять лет был наследником дома Тирнан, сидит в костюме не по плечам и чувствует на себе шесть пар глаз.

Я смотрю на скатерть. В узоре белого по белому есть заштопанное место, и я веду по краю штопки взглядом туда и обратно: так у меня выходит не смотреть на брата.

И тогда Деклан берёт бокал.

— Джеррад, — говорит он, — ты меня знаешь с рождения. Так вот, я тебе скажу, пока отец не передумал и не назвал кого-нибудь поумнее: он должен был сделать это два года назад.

Тишина.

— Она ведёт порт с двадцати четырёх лет, — говорит мой брат. — Все письма, которые ты получал от моего отца, написаны её рукой. Я в это время лежал под капельницей и давал советы, которых никто не просил. — Он поднимает бокал чуть выше. — За Мэйв.

Джеррад Доэрти встаёт.

За ним встаёт племянник, потом мать, потом Берк от двери. Отец остаётся сидеть — он не встаёт ни за кого, — но берёт бокал и кивает.

— За Мэйв, — говорит Джеррад.

Я тоже встаю — стул цепляется ножкой за ковёр, и приходится отпихнуть его коленом. «Спасибо», — говорю я куда-то в середину стола, и моя рука поднята слишком высоко, как чужая. Всё правильно, ни одной ошибки. Но смотрю я на руку брата, на ту, в которой бокал, и на запястье у него, из-под рукава водолазки, виден край чего-то тёмного.

Он ловит мой взгляд поверх бокала.

И подмигивает.

◆ ◆ ◆

Кофе подают в малой гостиной, и там Джеррад задаёт свой вопрос.

Он задаёт его не сразу. Сначала он долго говорит про внучку, которая поступила в Нортистерн, потом про то, что порт продадут китайцам и всех нас не станет, потом про бедро, которое он не даёт резать. И только когда мать выходит распорядиться насчёт машины, он ставит чашку и говорит:

— Фергус. Я должен спросить.

— Спрашивай.

— Не для себя. — Старик разводит руками. — Меня спросят дома, и я должен буду что-то ответить. Ты меняешь наследника. У людей будут мысли.

— Какие у людей будут мысли?

— Нехорошие, — говорит Джеррад Доэрти. — Люди посчитают, сколько тебе лет и как ты выглядишь, и подумают: а Уговор-то ещё при доме Тирнан?

Племянник смотрит в пол. Берк у двери не шевелится.

— Мне нужен нож, — говорит отец.

Мария приносит тот, которым резали баранину. Он большой, с костяной ручкой, и его только что вымыли — на лезвии ещё вода.

Отец берёт нож левой рукой и кладёт правую ладонь на скатерть.

— Ближе, — говорит он Джерраду. — Я хочу, чтобы ты смотрел с полуметра и потом рассказывал с полуметра, а не с трёх.

Старик придвигает кресло.

Я стою у окна, и отсюда мне видно всё: отцовскую ладонь, старые мозоли у основания пальцев, обручальное кольцо, которое не снимается с девяносто четвёртого.

Он режет поперёк ладони, от подушечки под большим пальцем к ребру.

Режет медленно и глубоко, ведя лезвие, как по линейке, и пока лезвие идёт, у него ни разу не дёргается кадык.

Порез раскрывается.

Края расходятся. Видно, что внутри.

И ничего не идёт.

Я считаю. Я стою у окна и считаю, потому что не умею иначе: раз, два, три, четыре. На четырёх в такой ране кровь уже должна идти по запястью в рукав. На семи с ладони начало бы капать на скатерть.

Девять. Десять.

Края пореза бледные и сухие.

Отец поворачивает ладонь — вверх, набок, к свету от окна, — и подносит к самому лицу Джеррада Доэрти, и держит.

Племянник отступает на шаг. Потом ещё на шаг.

Я знаю это движение. Я видела его в шесть лет, в дверную щель, в доме, которого больше нет: мужчины в пиджаках отступали от стола точно так же, по одному, на шаг.

Только там на белой салфетке шло красное.

Вот что это было.

Двадцать лет я помнила эту салфетку как самое страшное, что видела, и двадцать лет не знала, что именно смотрела. Отец не наказывал дядю Аурелио за столом. Отец его **проверял.** Разложил салфетку, попросил нож, потребовал при свидетелях — и дядя Аурелио порезал ладонь и закровоточил, и все в комнате одновременно перестали смотреть, потому что увидели то, чего не должны были увидеть никогда.

Выходит, что мой отец, в чужой столовой, за столом, где мы ели баранину каждую вторую пятницу, при жене, при детях в соседней комнате, сделал то же самое, что делает сейчас под взглядом Джеррада Доэрти.

Только тогда он задавал вопрос. А сейчас отвечает.

В гостиной пахнет кофе, ментолом от Джеррада и чем-то холодным, металлическим — ножом, наверное. Так пахнут монеты, если подержать их в кулаке.

— Довольно, — говорит Джеррад, и у него дёргается щека. — Фергус. Довольно.

Отец убирает руку.

Он не заматывает её и не вытирает. Он просто кладёт ладонь на колено, порезом вниз, и берёт чашку другой рукой.

— Передавай своим, — говорит он.

Джеррад Доэрти встаёт, подходит к моему отцу и наклоняется к нему. Говорит что-то на ухо, два или три слова. Отец слушает, не поворачивая головы.

Потом старик идёт к двери, останавливается возле меня и берёт мою руку в обе свои. Ладони у него сухие и очень горячие.

— Девочка, — говорит он, — ты умная. Я вижу. — Он смотрит мне в лицо снизу вверх, потому что он ниже меня на полголовы. — Умные в этом деле живут дольше всех. Прощаются, правда, чаще.

Он похлопывает меня по руке и уходит, и племянник уходит за ним, и в прихожей долго хлопают двери, и слышно, как заводят машину.

◆ ◆ ◆

После

Я нахожу Деклана в оранжерее.

Это стеклянная пристройка с задней стороны дома, где мать когда-то держала лимонные деревья, а теперь стоят пустые кадки, садовый инвентарь и два плетёных кресла, в которых никто не сидит. Стёкла в раме мутные, в разводах, и сквозь них сад виден так, будто смотришь через воду. Здесь всегда на пять градусов холоднее, чем в доме, и пахнет землёй и прелым листом.

Он сидит в кресле в расстёгнутом пиджаке, и ворот водолазки оттянут вниз, и он даже не повернул голову, когда я вошла.

— Деклан.

— Не надо.

Я сажусь во второе кресло.

Под стеклянной крышей скребётся сухой лист — его затянуло в щель между рамами давным-давно, и он там шуршит в любую погоду; отец обещал достать его три года назад.

— Зачем ты это сделал, — говорю я. Не вопросом. У меня не получается вопросом.

— Потому что Джеррад должен был уехать с историей. — Деклан смотрит в сад. — Он и уехал: приехал к Тирнанам, а там брат за сестру встал, и всё у них в порядке, и наследницу приняли свои. Если бы я промолчал, он увёз бы другую историю. А если бы я встал и вышел, он увёз бы третью, и ту уже перекупили бы Ардженто.

— Я не об этом спрашиваю.

— Я знаю, о чём ты спрашиваешь.

Он наконец поворачивается.

— Мне двадцать девять лет, — говорит мой брат, — и девять из них я был наследником дома Тирнан, и сегодня меня закопали при свидетелях за бараниной. И я сам поднял бокал, чтобы это выглядело прилично. — Он улыбается криво. — И знаешь, что самое поганое? Мне стало легче. Я сидел и думал: ну всё. Отмучился.

— Деклан...

— Я был рад, Мэйви.

Лист скребётся под крышей.

— Я четыре года жду, когда у меня это заберут, — говорит он. — Потому что я не могу. Не «не хочу» — не могу, физически. Я прошлой весной не смог прочитать до конца твою записку про Шериданов, два листа, я на втором листе забыл первый. Какой из меня глава дома? И всё это время я сидел и ждал, когда отец наконец скажет вслух, что я не гожусь, и сегодня он сказал, и у меня отлегло. — Он разводит руками. — Вот такой у тебя брат. Обрадовался, что его похоронили. За столом. При Доэрти.

Я не знаю, что на это говорят.

Я сижу в холодной оранжерее в синем платье, которое надела, потому что он велел. Вокруг пустые кадки из-под лимонных деревьев, которые мать выбросила лет пятнадцать назад, и мне нечем ему ответить, — потому что вчера вечером я смотрела со своего табурета ему в спину, пересчитывала рёбра под кардиганом, прикидывала, сколько ему осталось, и мне тоже на секунду стало легче.

Деклан смотрит на мои руки, сжатые на коленях, потом на меня и усмехается — так усмехаются, узнав себя в другом, — хотя я ничего не сказала.

— Покажи руку, — говорю я и слышу, что это требование.

— Нет. — Мягко, но он уже убирает руку под пиджак.

— Деклан, — говорю я его пиджаку.

— Нет, — говорит он. — Вот это — нет. Это моё.

Он застёгивает пиджак. Одну пуговицу, потом вторую, и пальцы у него на второй не слушаются, и он справляется с третьего раза.

— И ещё. По вторникам и четвергам больше не приезжай.

— Что?

— В Дана-Фарбер. Не приезжай. — Он говорит это в сторону, натягивая рукав на запястье.

— Я вожу тебя туда четыре года. — Я зачем-то показываю ему четыре пальца и тут же засовываю руку под бедро, как школьница, пойманная на списывании.

— Знаю. — Он встаёт из кресла в два приёма, с упором на подлокотники. — А теперь не надо. Пусть возит Мария, она хорошо молчит.

— Я не понимаю.

— Ты понимаешь. — Он застёгивает последнюю пуговицу. — Ты уже два месяца смотришь на меня, как Берк. И я не хочу, чтобы это были последние глаза, которые я помню.

Он идёт к двери в дом.

— Костюм отвратительный, — говорит он на ходу. — Я в нём как вешалка. Пункт тридцатый: купить костюм по размеру. Умру модным.

Стеклянная дверь за ним хлопает. Лист под крышей скребётся по-прежнему, и я слушаю его, пока не перестаю чувствовать пальцы ног от холода.

◆ ◆ ◆

Берк ждёт меня в счётной.

Так это называется в нашем доме, хотя никаких счетов там нет уже лет сорок: маленькая комната в старой части, рядом с нижним коридором, с одним окном под потолком и стеллажами от пола до верха. На стеллажах — приходные книги дома Тирнан, от тысяча девятьсот четвёртого года и дальше, в твёрдых переплётах, и от них пахнет бумагой, пылью и мышами, хотя мышей вывели при мне.

Здесь холоднее всего в доме. Сюда выходит та самая стена, за которой камень и зола.

— Садитесь, — говорит Берк.

Он уже сидит, и перед ним на столе ничего нет. Ни бумаги, ни папки. Он сорок лет ведёт дела дома Тирнан и сейчас принёс сюда только себя.

— Сколько вы знаете? — спрашивает он, не поднимая глаз. Фраза вышла гладкая, без единой запинки, — значит, готовился.

— Я знаю, что у моего отца не идёт кровь. — Сказать это вслух труднее, чем я думала. Язык липнет к нёбу.

— С какого возраста? — Он уточняет, как врач уточняет симптомы.

— С сегодняшнего обеда. — Я сажусь. — До этого у нас это называлось «наше дело». Так мать говорила бабушке по телефону. Я думала, это выражение.

Берк сжимает и разжимает пальцы одной руки.

— Хорошо. Значит, с начала.

И он рассказывает.

Он не произносит речь. Он отвечает на то, о чём я спрашиваю, и молчит про остальное, и всё я узнаю в том порядке, в каком до этого додумываюсь.

У дома есть Уговор. Пока он в силе и у него есть носитель, дом нельзя ни отобрать, ни уничтожить. Это всё, что он даёт, и этого хватает. Кто его несёт, тот и глава, и его не назначают — его опознают по тому, что у него не идёт кровь. Поэтому отцовское слово само по себе ничего не стоило бы, и поэтому Джеррад спросил, и поэтому отец достал нож.

— Это первое, — говорит Берк. — Второе хуже.

Уговору нужна кровь. Своей у носителя больше нет — она ему не принадлежит. Поэтому Уговор берёт с прямой крови: родители, дети, братья и сёстры. Больше ни с кого. Двоюродные, жёны, племянники не в счёт.

Такого человека называют залогом. Выбирает его сам Уговор, не носитель и не семья, и выбирает самого крепкого.

Я сижу в холодной комнате, и до меня доходит не сразу.

— Бабушка, — говорю я.

— Ваша бабушка, — соглашается Берк. — Потом брат вашего отца, Шей. Он умер в пятьдесят два, и врачи тогда тоже ничего не нашли. А когда его не стало, Уговору понадобился следующий.

— И нас было двое.

— Он выбрал через девять дней после похорон Шея.

Лампочка под потолком гудит. На стеллаже справа от меня стоят книги за девяностые — корешки выгорели, и на одном белеет пятно, где отклеилась бумажка.

— Он взял Деклана, потому что Деклан был крепче. — Я говорю в стол, и каждое слово — ступенька вниз.

— Да, — говорит Берк, не смягчая.

— Четыре года назад.

— Да. — Он, кажется, впервые отводит глаза.

— А он уже пять лет был наследником. — «Пять» застревает у меня в горле и выходит громче всего остального.

— Его объявили в двадцать, при чужих домах, на сходе, — говорит Берк. Вашему отцу тогда и в голову не могло прийти, что так совпадёт: пока Шей был жив, залог был Шей. А когда Шея не стало, объявление уже пять лет как стояло, и взять его назад было нельзя. Отозвать наследника — это сказать чужим домам, что у Тирнанов с наследованием неладно. Вот тогда и начались клиники за границей, «переутомление» и отменённые выходы. Четыре года мы прятали то, что сегодня пришлось показать.

Я считаю на пальцах, прямо при нём, не стесняясь.

— Третье, — говорю я. — Должно быть третье. Что бывает, когда носитель умирает?

Берк смотрит на меня.

У него сухое старое лицо, которое ничего не выражает уже лет тридцать, и сейчас оно тоже ничего не выражает, и именно по этому я понимаю, что сейчас будет.

— Долг взыскивают полностью, — говорит он. — Сразу.

— Насколько сразу?

— Несколько дней.

Где-то за стеной, в нижнем коридоре, Мария катит тележку с посудой, и колёсико у тележки стучит на каждом стыке плитки.

— То есть он умрёт не от болезни, — говорю я. — Он умрёт в ту неделю, когда умрёт отец.

— Да.

— И никакой Хьюстон тут ни при чём.

— Хьюстон — это для вашей матери, — говорит Берк. — Ей нужно куда-то возить надежду.

Я встаю и подхожу к стеллажу. Беру с полки книгу за девяносто восьмой год, открываю на середине, смотрю в чужие цифры, не вижу ни одной и ставлю обратно.

— Том.

— Да.

— Если я возьму Уговор, — говорю я в стеллаж, — Уговор выберет нового залога. Из моей прямой крови.

— Да.

— У меня нет детей. Родителей своих я переживу. — Я поворачиваюсь. — У меня в прямой крови один человек.

Берк молчит.

— То есть я его не спасу. Даже если сяду на место. Даже если всё сделаю правильно.

— Нет, — говорит Берк. — И есть четвёртое, и вы о нём не спросили.

— Я о нём не спросила, потому что я его видела.

Он поднимает брови.

— Два раза, — говорю я. — Первый — когда мне было четырнадцать и отец рассказывал про дом Арриага. Он сказал: «В доме не бывает двух глав». Я тогда решила, что это про политику. Второй раз — сегодня за столом, когда Деклан встал с бокалом. Он знал. Он с двадцати лет знал, что его закроет тот, кто сядет после отца.

Я сажусь обратно.

— Скажите мне, что это неправда.

— Это правда, — говорит Том Берк. — Но это не то, чем кажется.

И он объясняет четвёртое правило.

Залог можно освободить. Один-единственный способ: носитель отпускает его сам, своей рукой, и залог должен согласиться. Тогда долг считается закрытым и Уговор берёт следующего.

И больше никак.

— Чужие дома думают, что новый глава режет наследника, чтобы напугать, — говорит Берк. — Пускай думают. Они тридцать лет не лезут к нам именно поэтому. — Он складывает свои большие руки на пустом столе. — А делается это для того, чтобы человек не умирал несколько дней, когда его начнут выплачивать. Когда-то это называли милостью. Теперь не называют никак, потому что некому: я последний, кто слышал это слово от предшественника, а он слышал от своего.

Я сижу очень прямо и чувствую, как у меня затекла спина.

— Это всё?

— Это всё, — говорит Берк. — Четыре.

— Тогда последнее. — Я смотрю в пол, потому что в лицо не могу. — Сегодня ночью в стене над кабинетом шла вода. Снизу вверх, с остановками, минуты три. У нас это называется «трубы».

Берк не отвечает.

Я поднимаю глаза. Он сидит, положив руки на стол, и смотрит на свои руки.

— В этом доме это называется «трубы» лет сорок, — говорит он. — Я тоже так говорю, при всех. — Он не поднимает головы. — Мой предшественник называл это иначе. Он говорил: Уговор пошёл выбирать.

Лампочка под потолком гудит.

Я соображаю медленнее обычного и поэтому проговариваю вслух, по шагам, как у доски.

— Выбирать, — повторяю я по складам, — залога.

— Да. — Он смотрит на меня, как смотрят на человека у края крыши: не двигаясь, чтобы не спугнуть.

— Но залог у нас есть.

— Четыре года как.

— А нового Уговор берёт тогда, когда прежнего не стало. Вы это сказали полчаса назад.

Берк молчит.

— Том. Деклан жив.

— Я заходил к нему перед вами.

— Тогда зачем он пошёл выбирать?

Вот теперь он поднимает голову.

— Я слышал это три раза за жизнь, — говорит он. — Мальчишкой, когда не стало вашей прабабки. Потом когда умерла ваша бабушка и Уговор взял Шея. Потом когда умер Шей и

Уговор взял вашего брата. — Он достаёт из кармана запонку и сжимает её в кулаке. — Каждый раз перед этим кто-то умирал. Сегодня ночью не умер никто.

В счётной очень холодно. Я чувствую это только сейчас.

— И что это значит?

— Не знаю, — говорит Том Берк. — За весь сегодняшний разговор это единственное, чего я вам не могу объяснить.

— Трубы в том крыле сняли в двухтысячном, — говорю я зачем-то.

— Я знаю. — Он встаёт и отодвигает стул. — Идите к отцу. Он ждёт вас с обеда. И про воду в стене ему не говорите.

◆ ◆ ◆

Ночь

В кабинете пахнет старой бумагой и чернилами, которыми давно не пишут, и под этим — табаком, хотя у нас не курят с моего детства.

Отец сидит под зелёной лампой. Правая ладонь у него теперь замотана — не бинтом, а полотняной салфеткой, той самой, обеденной, и узел он завязал зубами, потому что левой рукой узлы не выходят.

— Берк всё сказал?

— Четыре правила.

— Значит, всё. — Он показывает на кресло. — Садись.

Я не сажусь.

Я смотрю на салфетку у него на ладони и вижу, что она чистая. Совершенно чистая, без единого пятна, хотя с обеда прошло девять часов, — и завтра она будет такой же, и послезавтра, потому что рану, которая не кровоточит, не затягивает тоже, и мотает он руку, чтобы в неё не смотрели.

— Ты назвал меня наследницей, зная, что я должна буду сделать с Декланом.

— Да. — Отец отвечает сразу, и в этой скорости слышно, что он ждал.

— И за обедом ты смотрел, как он встаёт с бокалом. — Я упираюсь ладонями в спинку кресла, в которое мне велено сесть, и кресло чуть сдвигается по полу.

— Да. — Он отвечает не сразу.

— Папа.

Он берёт со стола очки и кладёт обратно. Я видела, как он это делает, тысячу раз, и только сейчас понимаю, что он так тянет время.

— Я тебе кое-что покажу, — говорит отец.

Он выдвигает нижний ящик стола — левой рукой, неудобно, пришлось развернуться всем корпусом, — и достаёт оттуда папку. Обычную серую папку на завязках, толщиной в палец, потрёпанную по углам.

Кладёт её на сукно и подвигает ко мне.

— Четыре года, — говорит он.

Я развязываю завязки.

Внутри бумаги, и они разного возраста: верхние хрустят, нижние обмякли и пахнут ящиком. Счета от людей, которых нанимают не по телефону. Копия чьего-то паспорта с загнутым углом. Распечатки с заголовками по-испански, подчёркнутые карандашом в тех местах, где мой отец, не знающий испанского, узнал фамилию. Фотография больничного коридора, снятая от бедра: кто-то шёл и не остановился. Отчёт на двух страницах, где половина строк начинается словами «результата нет», а внизу приписано от руки: «Бильбао, Сантандер, Байонна — закрыто».

И сверху всего — лист, на котором от руки, отцовским почерком, написано одно имя.

Инес Арриага.

Я стою и смотрю на этот лист довольно долго — на отцовский почерк, которым подписаны все мои школьные бумаги и все соглашения этого дома за тридцать лет, на два слова, выведенные с нажимом, как пишут, когда проверяют, не дрогнет ли рука.

Девочка в носках на покрывале, цвета молока, в которое долили воды. «Устала», — сказал мне тогда её брат, слишком быстро, и отвернулся.

— Она умерла, — говорю я. — Ей было шесть. Ты сам мне это сказал, когда мне было четырнадцать, в этой комнате.

— Я сказал, что она в списках.

— Ты сказал — погибла.

— Нет. — Отец не повышает голоса. — Я выбрал слова, ты запомнила их неправильно, и я тебя не поправил. Тела не нашли. Я знаю, потому что искал сам.

Эти же слова про Тиаса я слышала в этой комнате, когда мне было четырнадцать. Окно на втором этаже и взмах руки — об этом я отцу по-прежнему не говорю.

Он смотрит на свою замотанную руку.

— Залог не снимают просто так, — говорит он. — Четвёртое правило оставляет один путь, ты его слышала. Но Аурелио Арриага нашёл другой.

Я поднимаю голову.

— Он отказался от Уговора, — говорит мой отец. — Насовсем. Залогом была его дочь, он смотрел на это два года и отдал Уговор, чтобы её отпустило. Вот что значит «отказался от своей крови». Он выбрал ребёнка, а не дом.

— И ты его за это сжёг.

— В ту же ночь.

Он говорит это слово в слово, как читают по бумаге, и я понимаю, что он репетировал — годами, по ночам, вслух, сам с собой, в этом кабинете.

— Мне сказали: Арриага предали свою кровь. На нашем языке это значит именно то, что он сделал. Дом без Уговора — это дом, который берут, и все четыре семьи были бы там к утру, и я пришёл первым. Я потребовал доказательств, он их дал, и всё дальнейшее было по правилам. — Отец поднимает глаза. — Я не спросил только одного. Зачем.

В прихожей идут часы, и я слышу каждый такт.

— Двадцать лет я думал, что он слабый, — говорит отец. — Потом заболел Деклан, и я четыре года сижу здесь по вторникам и четвергам и считаю часы, пока ему капают. И вот я больше не думаю, что Аурелио был слабый. Я думаю, что он единственный из нас, кто успел.

Он показывает подбородком на папку.

— Инес Арриага была залогом и перестала им быть. Дом её сгорел, а она — нет. Это единственный человек на свете, который вышел из этого живым, и если где-то есть способ снять долг, не отдавая Уговор, то знает его она.

Я беру лист с именем.

У меня в голове очень быстро и очень ясно складывается то, что я должна чувствовать. Мой отец сжёг дом, убил тринадцать человек и оставил двух детей без дома. А потом четыре года платил людям, чтобы найти одного из них. И не из раскаяния — чтобы выменять у неё жизнь своего сына.

Вот что я должна чувствовать.

А чувствую я другое. Я стою в кабинете под зелёной лампой, держу бумажку с чужим именем, и внутри у меня разворачивается что-то тёплое и позорное, и называется оно: **наконец-то появился план.**

Я такой человек. Я уже это знаю.

— Я помогу, — говорю я.

Отец кивает и не говорит спасибо.

Мать просила не соглашаться сразу. Что бы он ни предложил.

Я вспоминаю об этом через полсекунды после того, как сказала.

— Деклан знает? — Я задаю вопрос, уже зная ответ, и лист с именем хрустит у меня в кулаке — я не заметила, когда его сжала.

— Нет, — говорит отец и смотрит в лампу.

— Четыре года — и он не знает. — Я повторяю это вслух, чтобы услышать, как оно звучит. Звучит как отчёт Берка: все факты на месте, а выводов нет.

— Он догадывается, — говорит отец. — Он слишком умный, чтобы не догадываться, и слишком умный, чтобы спросить. — Он поправляет салфетку на ладони. — А если спросит

и я отвечу, он попросит перестать. И я перестану, потому что он умеет просить так, что перестаёшь. Мы с ним об этом не разговариваем.

— А мама?

Отец смотрит в круг света на сукне.

— Твоя мать знала раньше меня, — говорит он. — Она бывала у Арриага чаще. Она видела Инес каждую вторую пятницу, видела, что с ней делается, и сказала мне в машине по дороге домой, за год до всего: «Фергус, с этим ребёнком что-то не так, и никто не хочет смотреть». А я ответил, что это не наше дело.

Он передвигает серую папку на сантиметр и возвращает на место.

— Мне было тогда сорок, — говорит он. — Ей тридцать пять.

— Человек, который её искал, больше не приедет, — говорит он. — Вернул деньги в июне и отказался продолжать.

— Почему?

— Не объяснил.

Я чуть не говорю про трубы.

Берк велел не говорить. Я молчу не поэтому.

Я открываю рот — и не говорю, и причину формулирую себе сразу, честно и некрасиво: если он узнает, что Уговор пошёл выбирать, он начнёт считать дни быстрее, а мне нужно, чтобы он считал их медленно. Мне нужно время.

Я складываю лист вчетверо. Уголок к уголку, аккуратно, как складывают счёт в ресторане.

Потом замечаю, что делаю, и у меня немеют пальцы.

— Она знает, что её ищут? — спрашиваю я.

— Четыре года знает. Поэтому мы её и не находим.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Первая цена

Понедельник

В двенадцать ноль-ноль денег нет.

Я сижу в конторе над вторым причалом — две комнаты с линолеумом и окно во всю стену, в котором видно воду и половину шестого терминала, — и смотрю на экран со счётом дома. Там та же цифра, что в восемь утра. Я смотрю на неё так, как смотрят на дверь, из которой кто-то должен выйти.

В восемь я приехала раньше всех, если не считать Шеймуса, потому что два дня меня называли наследницей и мне хотелось, чтобы в понедельник это кто-нибудь увидел своими глазами. Он открыл мне дверь конторы и сказал: «Доброе утро, мисс Тирнан», — хотя двадцать шесть лет говорил «доброе утро, Мэйв», — и с тех пор у меня ощущение, что я хожу в чужом пальто. Оно жмёт в плечах. Я всё утро поправляю воротник.

Порт знает с воскресенья. Джеррад Доэрти доехал до дома, рассказал своим, свои позвонили тем, кому звонят по воскресеньям, — и к утру об этом говорили на всех шести терминалах.

Двенадцать ноль четыре.

Я встаю и подхожу к окну. Внизу разгружают рефрижератор, на леерах сидят чайки, одинаково развернувшись к ветру, и ни одна не взлетает. Мне хочется, чтобы хоть одна взлетела. Чтобы хоть что-нибудь в этом порту сдвинулось с места само.

Двенадцать двенадцать.

Я сказала: до полудня. Сказала в пятницу Дэнни Шеридану в лицо и помню, каким голосом, и помню, как он после этого переложил руку. Если сегодня ничего не придёт, то руку переложит он, в мою сторону, — и будет прав.

В двенадцать сорок я звоню.

Трубку берёт кто-то молодой и безмятежный, и слышно, как у него за щекой щёлкает жвачка.

— Мисс Тирнан? А, так отправлено же! В субботу с утра.

— Куда отправлено?

— Ну как куда. — Он искренне удивлён, что я спрашиваю, и даже слегка рад, что может помочь. — Как обычно. Мистеру Дойлу.

В ушах у меня встаёт высокий звук, как от камертона, и сквозь него я слышу, как сама говорю «спасибо» — вежливо, почти тепло, — и вешаю трубку.

Ладони мокрые. Я вытираю их о юбку и стою так ещё минуту: если пойду сейчас, то побегу.

◆ ◆ ◆

Колм Дойл работает на моего отца тридцать один год.

Он держит северный склад и весовую, через него идёт всё, что заезжает на территорию, и он единственный человек в порту, который по звуку скажет, перегружен ли контейнер. Ему шестьдесят три. У него седая щётка на голове, руки в старых порезах и очки для чтения на шнурке, которые он надевает, когда смотрит в накладные, и снимает, когда говорит с людьми.

Он научил меня водить.

Мне было четырнадцать, лето, пустая площадка за четвёртым ангаром, его «шевроле» с убитой коробкой. Он сидел справа, держал стакан кофе и говорил: «Не смотри на капот, детка. Смотри туда, куда хочешь приехать». Мы угробили сцепление за три субботы. Отцу он сказал, что сцепление и так доживало.

Я приезжаю на северный склад в начале второго.

Там пахнет соляркой, мокрой верёвкой и той ледяной рыбной сыростью, которая въедается в бетон и не выветривается зимой. Над головой гудит обогреватель. Весы — старые, меха-

нические, с чугунной платформой, которую мыли столько раз, что краска сошла до железа, — щёлкают, когда на них заезжает погрузчик.

Колм выходит ко мне в расстёгнутой куртке и сияет. По-настоящему, всем лицом, как сияют, когда приходит человек, которого ждали.

— О! — Он разводит руки, но не обнимает: помнит, что теперь нельзя. — Явление народу!

— Здравствуй, Колм.

— Ты по поводу Шериданов? — Спрашивает легко, между делом, как про погоду. Он знает, зачем я приехала, с самой субботы, и ни капли не боится.

— Да.

— Пойдём в тепло, ты вся синяя.

Его конторка — четыре на четыре, с календарём за позапрошлый год, электрическим чайником и фотографией внуков под стеклом. Кофе он наливает мне из термоса, не спросив, хочу ли, в ту же кружку с трещиной у ручки, из которой я пила в пятнадцать лет, когда приезжала сюда делать уроки: дома было тихо, а здесь грохотало, и никто меня не трогал.

— Дэнни позвонил в пятницу вечером, — говорит Колм, усаживаясь, и тянет слово «пятницу» с удовольствием человека, которому есть что рассказать. — Перепуганный, как школьник у директора. «Колм, она мне про лицензию, она мне про Доула, она мне про его мать покойную...» — Он качает головой, и в голосе у него гордость, почти нежность. — Я ему: Дэнни, не части.

Термос он завинчивает двумя руками, медленно, потому что пальцы к шестидесяти трём слушаются хуже.

— Я ему сказал: присылай в субботу, и не за три месяца, а за два, как делали при твоём деде. — Он говорит всё быстрее, подаётся вперёд, руки расходятся над столом, как у человека, который объясняет дело, в котором уверен. — У него год тяжёлый, с контуром в третьем ангаре вопрос не закрыт, люди на нём. Остаток пришлёт к Новому году, никуда не денется. А шуметь не надо.

Я держу кружку обеими ладонями — чтобы не было видно, как они дрожат.

— Ты изменил мои условия.

— Я сделал по-людски. — Он правда не понимает. Смотрит мне в лицо, чуть склонив голову, и ждёт, что я сейчас кивну и мы оба засмеёмся. — Деньги у меня в сейфе, сегодня перевожу, не переживай. Хотел, чтобы ты знала раньше, чем бумаги.

— Колм.

— Детка, послушай старика. — Голос у него падает на тон ниже и делается мягким, тем самым, которым он говорил «смотри туда, куда хочешь приехать». — Я тридцать один год считаю этот порт. Помню, как твой дед ругался с Шериданом-старшим из-за этих же самых процентов. А ты в пятницу сделала всё правильно, слышишь? Правильно! Я людям так и сказал: девочка выросла.

Он говорит это от всей души. И мне хочется в ответ, тоже от всей души, швырнуть кружку в стену.

— Ты позвонил Дэнни Шеридану и велел ему не беспокоиться.

— Успокоиться, — поправляет он добродушно.

— А отцу моему ты позвонил?

Колм Дойл молчит. Недолго, как раз столько, сколько человеку нужно, чтобы выбрать, как сказать.

— Фергусу незачем. — Мягкость в голосе осталась, а глаза ушли в сторону, к календарю. — Фергус болеет.

Обогреватель над дверью включается с щелчком.

— Я тебя на коленях держал. — Теперь он смотрит на меня снова и говорит тише, почти ласково, как с испуганным ребёнком. — Водить учил. Я тебе не враг, Мэйв, я тебе страховка. Пока такие, как я, на месте, с тобой никто ничего не сделает, и ты это поймёшь, только не сразу.

Он берёт термос и подливает себе, и рука у него не дрожит нисколько.

— Твой отец бы меня понял.

Я держу кружку с трещиной и смотрю на фотографию внуков.

«Страховка». «Никто ничего не сделает». Он говорит это с такой нежностью, что у меня сводит скулы. Меня так и держали все двадцать шесть лет: не пускали, не давали, объясняли, как лучше. Из лучших побуждений, и у каждого, кто мне это объяснял, было вот это лицо, как у Колма сейчас: гладкий лоб, влажные глаза, мягкий голос.

Край трещины врезается в большой палец. Я не ослабляю хватку.

Самое поганое, что он не врёт: отец бы его понял. Отец понимал его тридцать один год, и именно поэтому к Фергусу Тирнану в этом порту можно прийти и объясниться, и все это знают, и на этом стоит всё, что у нас есть. У нас это называется порядком.

А ломать мне придётся как раз привычку приходить и объясняться.

Я ставлю кружку на стол. Без звука.

— Спасибо за кофе, Колм. — Голос у меня тёплый. — Я всё запомню.

— Вот и умница. — Он расплывается в улыбке.

Я встаю. На сейф в углу, зелёный, с облупленной эмалью, я смотрю одну секунду, и Колм видит, что я смотрю. Улыбка остаётся на месте, но слабеет на полтона.

Дверь я закрываю, придерживая ручку, чтобы не щёлкнул замок.

За дверью он хмыкает и скрипит стулом.

◆ ◆ ◆

В машине я держусь до первого светофора.

Потом бью ладонью по рулю, без счёта, всё сильнее, пока под ладонью не взвывает клаксон. Я замираю и слушаю, как он тянет одну ноту, и убираю руку только тогда, когда нахожу в себе для этого силы. Ладонь горит. Сзади сигналит кто-то чужой, и я говорю в зеркало, сквозь зубы:

— Из лучших побуждений.

На мосту я съезжаю на обочину и сижу минут десять.

Внизу вода, слева краны, справа щит с рекламой адвоката по травмам, который висит тут лет двадцать и выгорел до зелени. Мимо идут фуры, и машину качает каждый раз.

Колм меня любит. Это не фигура речи: в семнадцать я рассекла бровь о стойку у Фэллона, и он отвёз меня зашивать, просидел в коридоре два часа и отцу не сказал ни тогда, ни после.

Он меня любит — и забрал мои деньги в свой сейф.

Я жду, когда из этого выйдет какой-нибудь другой вывод, кроме того, который уже вышел. Он будет решать за меня — любя, до самой смерти, — и семеро остальных будут смотреть на него и делать как он.

Я не буду Фергусом Тирнаном.

Человек, к которому можно прийти объясниться, — это человек, которому все что-нибудь объясняют. Почему не заплатили. Почему не сказали. Почему решили сами. Он понимал тридцать лет подряд, и весь дом держится на его понимании, а оно сейчас лежит в кабинете под зелёной лампой с салфеткой на ладони.

Мне понимать нельзя. Слово дома, которое можно обсудить, перестаёт быть словом, и ко мне придут разговаривать все, кому не лень, — Колм, Дэнни, четыре дома.

Хочется кричать. На мост, на фуры, на щит с адвокатом. Лицо горит, ладони на руле холодные и влажные, и злость в них плотная, как железо, которое простояло день на солнце. Раньше всегда находился кто-нибудь, кто решал за меня, и злиться можно было на него.

Теперь некому.

Значит, это должно обойтись ему дороже, чем обходится его правота.

Я трогаюсь. На первом же перекрёстке рука сама тянется развернуть руль, обратно, к северному складу, к зелёному сейфу, и я не даю ей.

◆ ◆ ◆

Отец сидит в кабинете, и салфетка на его ладони — та же.

Я замечаю это, когда он тянется за стаканом: узел на тыльной стороне, уголок оттопырен, полотно чистое. Двое суток. Он даже не перевязал.

— Дойл положил деньги Шериданов в свой сейф и велел им платить за два месяца из трёх. — Говорю быстро и сухо, как докладывают. Отец смотрит на меня на секунду дольше, чем нужно.

Он кладёт обе руки на сукно, правую с узлом поверх левой, и слушает, не перебивая и не меняя лица, до самого конца.

— Это он тебе сам рассказал?

— Сам. Не скрывал. Считает, что помог.

— Он и помог. — Устало, без злости. — По его понятиям. — Он смотрит в стол. — Что будешь делать?

— А ты что скажешь?

— Ничего.

Он поднимает глаза, и под зелёной лампой лицо у него серое, и я вдруг понимаю, что он ждал этого вопроса с самого утра и боялся его так же, как я.

— Если скажу, к вечеру узнают, и всё, что ты сделаешь дальше, будет моим. — Он отодвигает стакан, и стакан звякает о ножку лампы: рука не слушается. — Второй раз тебя после этого не послушают никогда. Иди и решай. Рассказывать не приходи. Я узнаю от других, как все.

Я у двери, когда он говорит:

— Мэйв.

Я останавливаюсь и кладу ладонь на косяк. Не оборачиваюсь, потому что если обернусь, то останусь.

— Колм хороший человек. — Слова ложатся мне в спину по одному, как гири на весы, с паузой после каждого. — Это ничего не меняет. Просто имей в виду, что это правда.

— Знаю. — Я давлю ладонью на косяк, пока она не немеет. — Я знаю, что он хороший, папа. Поэтому и начну с него.

Позади очень долго нет ни звука. Потом на сукно медленно, глухо ставят стакан.

Я не извиняюсь и не оглядываюсь. Дверь закрываю так, чтобы он слышал.

◆ ◆ ◆

Мать я встречаю на лестнице.

Она спускается сверху с пустой бельевой корзиной, мы расходимся на площадке, и она говорит, не останавливаясь и не глядя на меня:

— Бриджид Дойл.

— Что?

— Жена Колма. — Голос у неё деревянный, как у человека, который это репетировал. Корзину она перехватывает другой рукой, и костяшки белеют. — Мы с ней тридцать лет ходим в одну церковь. Третий ряд слева, она с краю, я рядом. Что бы ты ни решила, в воскресенье я сяду на то же место.

— Мама...

— Я не прошу тебя ничего не делать. — Заготовленная фраза кончается раньше, чем мать рассчитывала. Она глотает, смотрит в пустую корзину и договаривает уже без репетиции: — Я прошу посчитать, во что это обойдётся не тебе.

И уходит вниз, быстрее, чем нужно.

◆ ◆ ◆

Берк находит меня в оранжерее, где я сижу в пальто среди пустых кадок, потому что в доме мне тесно.

Он останавливается в дверях, не входя. Он никогда не входит, пока не позовут.

— Рука, — говорит он.

— Что?

— Левая. Дойл левша, значит, левая. — Он смотрит поверх меня, на пустые кадки. — Шесть недель в гипсе, работать будет через человека, никто никуда ничего не напишет. Через два месяца вернётся на весовую, и до конца жизни все, кто спросит, будут слышать одно: девочка Тирнанов сломала мне руку, потому что я полез не в своё дело. Это старый способ, он понятный, и сам Колм его одобрит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.